



КЛУБНИ
МЕСНАР
И
СОВРЕ-
МЕННА
ПРОЗА



Стефан

ЦВЕЙГ

АМОК

Amok

ИЗДАТЕЛЬСТВО

- [Стефан Цвейг](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

Стефан Цвейг

Амок

В марте 1912 года, в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но, так же как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия; оно случилось в ночное время, при погрузке угля и выгрузке товаров, и мы, спасаясь от шума, съехали все на берег, чтобы провести время в кафе или театре. Все же я лично думаю, что некоторые догадки, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той трагической сцены, а давность события позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в пароходном агентстве в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами — он не знает, можно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением дождливого времени, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дожидаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что еще может занять для меня одну каюту, правда не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому, не долго думая, попросил закрепить за мной место.

Клерк правильно осведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плохая — тесный четырехугольный закуток недалеко от машинного отделения, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было уйти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над самой головой. Внизу машина кряхтела и стонала, точно грузчик, без конца взбирающийся с кулем угля по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих по палубе. Поэтому, сунув чемодан в этот затхлый гроб меж серых шпангоутов, я поспешил на палубу и, поднимаясь по трапу, вдохнул, как амбру, мягкий, сладостный воздух, доносимый к нам береговым ветром.

Но и наверху царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервозностью, порожденной вынужденным бездействием, без умолку болтая, расхаживали по палубе. Щebetание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным закоулкам палубы, назойливая болтовня пассажиров, скопившихся перед креслами, — все это почему-то причиняло мне боль. Я только что увидел новый для меня мир, передо мной пронеслись пестрые, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воссоздать воображением то, что воспринял глаз, но здесь, на этой шумной, похожей на бульвар палубе, не было ни минуты покоя. Строчки в книге расплывались от мелькания теней проходивших мимо пассажиров. Невозможно было остаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.

Три дня я крепился — смотрел на людей, на море, но море было всегда одинаковое, пустынное и синее, и только на закате вдруг загоралось всеми цветами радуги; а людей я уже через трое суток знал наперечет. Все лица были мне знакомы до тошноты; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство; но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские

мисс беспрерывно барабанили на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя стаканом-другим пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Как-то раз я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, липкий и влажный. Чувства были притуплены, и мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья ног. Только машина — упрямое сердце левиафана, пыхтя, толкала поскрипывающее тело корабля вперед, в необозримую даль.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающим рангоутом, мне вдруг ударил в глаза яркий свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло, словно бархатный полог застлал какую-то ярко светящуюся поверхность, а искрящиеся звезды — только отверстия и прорезы, сквозь которые просвечивает этот неопиcуемый блеск. Никогда не видел я неба таким, как в ту ночь, таким сияющим, холодным как сталь и в то же время переливчато-пенистым, залитым светом, излучаемым луной и звездами, и будто пламенеющим в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете очертания парохода, резко выделяясь на темном бархате неба; канаты, реи, все контуры растворялись в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз на марсе — земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южного Креста, мерцающими алмазными гвоздями прибитое к небу; казалось, оно колышется, тогда как движение создавал только ход корабля, пловца-гиганта, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, подвигался вперед, рассекая темные волны. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя как под душем, где сверху падает теплая вода; только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно, легко и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, словно шипучий, пьянящий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом дальних островов. Только теперь, впервые с тех пор как я ступил на сходни, я испытал священную радость мечтания и другую, более чувственную; предаться, словно женщина, окружающей меня неге. Мне хотелось лечь и устремить взоры вверх, на белые иероглифы. Но кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал ощупью пробираться вперед, подвигаясь к носовой части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и на залитых им предметах, — так смотрят на пейзаж из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался, наконец, до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной по обе стороны лезвия. Неустанно поднимался плуг и вновь опускался, врезаясь в струящуюся черную почву, и я ощущал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искрометной игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял, или несколько минут; качание огромной колыбели корабля унесло меня за пределы земного. Я чувствовал лишь, что мной овладевает блаженная усталость. Мне хотелось спать, грезить, но жаль было уходить от этих чар, спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал

струившийся отовсюду серебристый блеск. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышный звон белого потока вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило все мое существо — я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля: я словно растворился в этом неумолчном журчании полуночного мира.

Тихий сухой кашель послышался возле меня. Я вздрогнул и сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись: как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом вспыхнула большая круглая искра, несомненно огонек трубки. Очевидно, любясь пеной у носа корабля и Южным Крестом вверху, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все время. Невольно, не придя еще в себя, я сказал по-немецки: — Простите! О, пожалуйста... — по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого я не видел. Я чувствовал, что он смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так яростен, что каждый из нас видел в тени только контур другого. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это было бы уж слишком резко и неучтиво. В смущении я достал папиросу. Вспыхнула спичка, и трепетный огонек на секунду осветил наш тесный угол. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту — ни за обедом, ни на палубе, — и не знаю, резнула ли мне глаза внезапная вспышка, или то была галлюцинация, но лицо показалось мне мрачным, страшно искаженным, нечеловеческим. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота опять поглотила осветившиеся на миг черты; я видел лишь контур фигуры, темной на темном фоне, и время от времени круглое огненное кольцо трубки. Мы оба молчали, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец, я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал: — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, — ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный, голос.

Я побрел, спотыкаясь о стойки и такелаж. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был все тот же незнакомец. Я невольно остановился. Он не подошел вплотную ко мне, и я сквозь мрак ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

— Простите, — поспешно заговорил он, — что я обращаюсь к вам с просьбой. Я... я, — он запнулся и от смущения не сразу мог продолжать, — я. У меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... тяжелая утрата... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обяжете, если никому на борту не сообщите о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... Да, так вот, мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул тяжелым, тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал слово и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морского путешествия всякая мелочь событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, завязавшийся новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках подходящего имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они к нему отношения; целый день я был во власти лихорадочного

нетерпения и ждал вечера, в надежде снова встретиться с незнакомцем. Психологические загадки неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удастся проникнуть в их тайну, люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу, которая немногим отличается от страстного влечения к женщине. День показался мне бесконечно долгим. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила разбудит меня.

И действительно, я проснулся в тот же час, что и вчера. На светящемся циферблате часов стрелки, перекрывая одна другую, слились в единую полосу света. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали дрожавший пароход рассеянным светом; в вышине горел Южный Крест. Все было, как вчера, — в тропиках дни и ночи более похожи на близнецов, чем в наших широтах, — только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, тревожило, и я знал, куда меня влечет: туда, к черной путанице снастей на носу — узнать, не сидит ли он там, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, нехотя уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то вспыхнуло, точно красный глаз, — его трубка. Значит, он там.

Я невольно вздрогнул и остановился. Еще миг, и я повернул бы обратно, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал его голос.

— Простите, — вежливо и как-то виновато сказал он, — вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, но мне показалось, что вы раздумали, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел, чтобы не помешать ему.

— Мне вы не мешаете, — не без горечи возразил он, — напротив, я рад поговорить с кем-нибудь. Уже десять дней, как я не произнес ни слова... собственно даже несколько лет... и мне тяжело — я задыхаюсь, верно оттого, что должен нести свое бремя молча... Я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... я больше не могу... и людей я тоже не переносу, потому что они целый день смеются... Я не могу этого выносить теперь... я слышу это даже в каюте и затыкаю уши... правда, никто ведь не знает, что... они ничего не знают, а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал: — Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я стал настойчиво удерживать его. — Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад побеседовать здесь, в тиши... Не хотите ли?

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо обращено ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо жадно и с какой-то безумной силой. Мне стало жутко. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что мне нужно молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. В его углу стояло второе кресло, которое он и предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгало в темноте световое колечко от его папиросы, я видел, что его рука дрожит. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

— Вы очень устали?

— Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

— Мне хотелось бы спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что рассказать. Я

знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в тяжелом психическом состоянии... Я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не можете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно. Пусть он, не стесняясь, расскажет мне все... Конечно, я не могу ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то, естественно, наш долг помочь ему.

— Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... Так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг предложить свою помощь?

Трижды повторил он эти слова. Мне стало страшно от этого тупого, упорного повторения. Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он?

Но, совершенно точно угадав мою мысль, как будто я произнес ее вслух, он вдруг сказал совсем другим голосом:

— Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного? Нет, этого нет, пока еще нет. Только сказанное вами странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит — лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал запинаться. Потом умолк и немного погодя опять заговорил:

— Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... Ну, скажем, неясные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один — есть долг перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас поговорить со мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания... Вы готовы выслушать меня... Хорошо... Но это ведь легко... А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт?.. Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться... там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то спасителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом с латинскими словами; неужели он действительно должен исковеркать свою жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь, добронравия? Да, где-нибудь кончается долг... там, где предел нашим силам, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

— Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... Впрочем, не скрою от вас, что и это со мной теперь часто бывает в этом дьявольском одиночестве... Подумайте — я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от связной речи. А как начнешь говорить, так сразу и хлынет через край... Но подождите... да, я уже вспомнил... я хотел вас спросить, хотел рассказать вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... с ангельской чистотой, бескорыстно помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет слишком длинная история. Вы в самом деле не устали?

— Да нет же, несколько.

— Я... я очень признателен вам... Не угодно ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, а то и больше бутылок, которые он, видимо, поставил возле себя. Он предложил мне виски; я только пригубил

свой стакан, но он разом опрокинул свой. На миг между нами воцарилось молчание. Громко ударил колокол: половина первого.

— Итак... я хочу рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

— Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все напрямик, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде отвлеченного случая... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы... Если хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилать и утаивать... Итак, я не стану рассказывать вам про случаи с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: «я»... Стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу и высасывает мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-то движение, так как он вдруг остановился.

— Ах, вы протестуете... понимаю. Вы в восторге от тропиков, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только из вагона железной дороги, из автомобиля, из колясочки рикши: я сам это испытал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал — я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлинниках, хотел изучать местные болезни, работать для науки, изучать психику туземцев, как говорят на европейском жаргоне, — стать миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но за невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка — от нее ведь не уйти, сколько ни глотать хинина — подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно теряет свой моральный облик, когда попадает из больших городов в этакую проклятую болотистую дыру. Рано или поздно пристукнет всякого, одни пьянствуют, другие курят опиум, третьи звереют и свирепствуют — так или иначе, но дуреют все. Тоскуешь по Европе, мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по городской улице, посидеть в светлой комнате каменного дома, среди белых людей; год за годом мечтаешь об этом, а наступит срок, когда можно бы получить отпуск, — уже лень двинуться с места. Знаешь, что всеми забыт, что ты чужой, как морская ракушка, на которую всякий наступает ногой. И остаешься, завязнув в своем болоте, и погибаешь в этих жарких, влажных лесах. Будь проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру.

Впрочем, сделал я это не так уж добровольно. Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом, и работал при Лейпцигской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я первый ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице; она довела своего любовника до иступления, и он выстрелил в нее из револьвера; вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно, это и сводило меня с ума властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я... да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже семь лет... я растратил из-за нее больничные деньги, и когда это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя внес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это, верно, не сахар, если предлагают деньги вперед! Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть грозят кому угодно, но только не ему. Ну, что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку

банкнот. Половину я отослал домой, дяде, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. Ах, леса, одиночество, тишина! мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а впрочем, название не играет никакой роли — на один из глухих постов в восьми часах езды от ближайшего города. Два-три скучных, иссохших чиновника, несколько полугерманцев из туземных жителей — это было все мое общество, а кроме него вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болота.

Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в которой вице-резидент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один, без всяких помощников, сделал ему операцию — об этом много тогда говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила; потом я завял. Европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего три года, потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я опять услышал плеск воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленный глухой стук машины. Мне хотелось курить, но я боялся зажечь спичку, боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лице. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли, или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый, сильный удар колокола: час. Он встрепнулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно.

— Да, так вот... пойдите... да, вот как это было. Сажу я там, в своей проклятой дыре, сажу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после ливней. Неделью за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я дома со своими желтолицыми женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не могу в точности описать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь: яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине.

Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках, и мечтал о путешествиях. Вдруг раздается тревожный стук в дверь, и я увидел своего боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают, перебивая друг друга и вытаращив глаза меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит дурное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне. Наконец, я спускаюсь вниз.

В передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

— Добрый день, доктор, — начинает она по-английски. (Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной.) — Простите, что я врываюсь к вам. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там. — «Почему она не подъехала к дому?» — молнией промелькнуло у меня в голове. — И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога отлично зажила, он опять уже играет в гольф. Да, да, у нас все говорят об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других в придачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете, точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой пустой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все сильнее волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней под неиссякаемым потоком ее болтовни. Наконец, она на миг останавливается, и я прошу ее наверх. Она делает своему бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило, — говорит она, осматривая мою комнату. — О, какая прелесть, книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите предложить вам чаю? — спрашиваю я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать корешки книг.

— Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же ехать дальше... у меня мало времени... это была ведь просто прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimentale»...^[1] Я вижу, вы читаете и по-французски. Чего только вы не знаете!.. Да, немцы... их всему учат в школе... Право, удивительно — знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, к кому он лег бы под нож... Наш старый доктор годится только для игры в бридж... Кстати, знаете ли (она все еще говорит, не оборачиваясь), сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами... а мы как раз проезжали мимо, я и подумала... Ну, вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» — сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного, — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки, — ничего серьезного, пустяки... женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром, во время езды, на повороте мне вдруг стало дурно, я упала без чувств... бой должен был поднять меня и принести воды... Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

— Так трудно сказать. У вас часто подобные обмороки?

— Нет... то есть да... в последнее время... именно в последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не подымает глаз из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец, она снова начинает гоном легкой болтовни:

— Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь?

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряю температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда тридцать шесть и четыре. И желудок в порядке.

Я медлю. Во мне все растет подозрение: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую. — Простите, — говорю я затем, — разрешите мне задать вам несколько вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать — тогда... были ли у вас подобные явления?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервности.

— А возможно ли, чтобы вы... простите за вопрос... возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?

— Да.

Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль.

— Лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в причине моего недомогания.

Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься во все это: к человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел: мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу — не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... тут была железная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она может подчинить меня своей воле... Однако... однако... во мне поднималась какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы понять это — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы она попросила... именно она, явившаяся с таким повелительным видом... И, кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные, холодные женщины.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей, более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил

случаи из медицинских журналов... Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением прервала меня, словно отменяя все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уж не та... у меня бывают сердечные припадки...

— Вот как, сердечные припадки? — повторил я, изображая на лице беспокойство. — Сейчас послушаем! — Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда.

— У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования — вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие к вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо — такое, какое боялся увидеть: непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере. Отмеченное не зависящей от возраста красотой, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок, — очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала: — Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как нож гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Но это требует заключения врача.

— Так вы дайте это заключение. Вы — врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», — нашептывало мне какое-то смутное вожделение.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих

местах, особенно если... если вы сможете увезти домой значительную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня, как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту значительную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд.

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю право на пенсию?

— Я возмещу вам ее.

— Вы говорите очень ясно... Но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал от гнева и... от восхищения. Все она рассчитала — и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду; она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу... Но когда я поднялся (она тоже встала) и посмотрел ей прямо в глаза, взглянув на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека; ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал... сказал ей...

Но постойте, так вам не понять, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул во тьме стакан. И голос продолжал с еще большим волнением:

— Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... А там в моей собачьей жизни это была ведь единственная радость: пользуясь горсточкой знаний, вколоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу... Я чувствовал себя тогда господом богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, — еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, — сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, сумею ли я объяснить вам, — она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимоходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом... потом... в конце концов от игры в гольф не родятся дети... я знал... то есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал — это и была та мысль, — с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ... почти негодование, — что она два-три месяца

назад лежала в постели с мужчиной и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуя... Вот это, вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер... И тогда, тогда у меня помутилось в голове... я обезумел от желания унижить ее... С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустился, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача... но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... победить как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели над собой особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления... Здешние женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, «господину»... Они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом... Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти... когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полуживотного... Это... вот это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что произошло потом. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушие. Я холодно произнес:

— Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, на это я не согласен.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Все же она спросила:

— Сколько же вы хотите?

Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне.

— Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за corrupted gold^[2]; может быть, я меньше всего делец... этим путем вы своего не добьетесь.

— Так вы не желаете?

— За деньги — нет.

На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз слышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Тут меня прорвало:

— Прежде всего я хочу, чтобы вы... чтобы вы не обращались ко мне, как к торгашу, а как к человеку... Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сразу же ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... Я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы бы это сделали?

— Вот вы уже опять торгуетесь! Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю! Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть!

Тут мною овладевает гнев, неистовый, безумный гнев.

— Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда... тогда я вам помогу.

Она с изумлением посмотрела на меня. Потом — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, — на миг ее лицо словно окаменело, а потом... потом она вдруг расхохоталась... с неопишным презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния огнем опалила меня... Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно бросился за ней... хотел объяснить ей... умолять ее о прощении... моя сила была ведь окончательно сломлена... но она еще раз оглянулась и проговорила... нет, приказала:

— Посмейте только идти за мной или выслеживать меня... Пожалее!

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света. И, наконец, опять его голос:

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... Я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все и всем существом рвался к ней... чтобы ее... я не знаю, что. Чтобы вернуть ее, или ударить, или задушить... но только бежать за ней... за ней... Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током... я был поражен, поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... Это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... и. Прошло несколько минут, может быть пять, может быть десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать... Вмиг слетел я с лестницы... Она ведь могла пойти только к станции... Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы, и вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь по пыльной улице... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... Но вот... на повороте к лесу, перед самой станцией, я вижу ее, она идет торопливым твердым шагом в сопровождении боя... Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал?... Яростно нажимаю на педали... Вдруг что-то кидается мне наперерез на дорогу... ее бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Поднимаюсь с бранью... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается... Встряхиваю велосипед, собираюсь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here»^[3].

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белою «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. В ответ на это я бью его по лицу... он шатается, но все— таки не выпускает велосипеда... Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха... но он держит руль, держит его дьявольски крепко... «You remain here», — бормочет он еще раз.

К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца.

— Прочь, каналья! — прорычал я.

Он глядит на меня, весь съежившись, но не отпускает руль. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть она уже уехала... Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... Вскрываю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... ничего не выходит... Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодеем, тот встает весь в крови и отходит в сторону... И тогда — нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец... но я уже не понимал, что делаю... у меня была только одна мысль: за ней, догнать ее... и я побежал, побежал, как сумасшедший, по деревенской улице, мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, примчался я к станции... Мой первый вопрос был: — Где автомобиль? — Только что уехал. — С удивлением смотрели на меня люди — я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос... На дороге за станцией я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля. Ей удалось уехать удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие намерения.

Но бегство ей не помогло... В тропиках нет тайн между европейцами... все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало... через несколько минут я уже знаю все... Знаю, кто она... что живет она в... ну, в главном городе района, в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... Ну, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка... Знаю, что ее муж пробыл пять месяцев в Америке и в ближайшие дни... должен приехать, чтобы увезти ее в Европу...

А она — и эта мысль, как яд, жжет меня, — она беременна не больше двух или трех месяцев...

— До сих пор я еще мог все объяснить вам... может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять своими поступками... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю, но я уже не имел власти над собой... я уже не понимал самого себя... я как одержимый бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я все же постараюсь объяснить вам... Знаете вы, что такое «амок»?

— Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения... у малайцев...

— Это больше чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... Во время моего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев — когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты! — но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни... Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему, пока, наконец, она не взрывается... О чем я говорил? Об амоке?.. Да, амок — вот как это бывает: какой — нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватается нож, бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни вправо, ни влево, бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути... Люди в деревнях

знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении. «Амок! Амок!», и все обращается в бегство... а он мчится, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет на землю...

Я видел это раз из окна своего дома... это было страшное зрелище... но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... Точно так же, с тем же ужасным, неподвижным взором, с тем же иступлением ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив окружного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался, гонимый амоком, сам не зная зачем...

Я мчался вперед очертя голову... В шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но у гонимого амоком незрячие глаза, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... сказал вежливо и холодно... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел, шатаюсь... Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... Виски и двойная лоза веронала помогли мне... я, наконец, уснул... и навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол — два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня; мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом:

— То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, — человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Иокогамы ее муж; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог говорить с нею. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все— таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... да, постойте... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унижить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был вконец уничтожен, я хотел только помочь ей, услужить... Я пошел бы на

преступление, на убийство, чтобы помочь ей... Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому; у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу, и заметив меня несомненно, он меня поджидал, — проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духу сделать еще одну попытку... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего.

Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы... Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе... В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство... может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно... Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

— У вас не выдержали нервы, милый доктор, — сказал он, — я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... Скажем, недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

— Не могу ждать ни единого дня, — ответил я. Он опять окинул меня странным взглядом. — Нужно потерпеть, доктор, — серьезно сказал он, — мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим

Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он, со светской любезностью, опередил меня

— Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите по крайней мере сегодня вечером, — сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают пожелание, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что, гонимый нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания; безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец, пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор — мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это

странное напряжение моих нервов, так мучительна была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом, матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи; она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе — она не видела или не хотела меня видеть — и вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное умение притворяться. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... Как может она так улыбаться, так... так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того чтобы комкать его от волнения? Я... я, чужой... я уже два дня дрожу в ожидании того часа... я, чужой, мучительно переживаю за нее ее страхи, ее отчаяние... а она явилась на бал и улыбается, улыбается...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее; она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу — но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, сказала «добрый вечер, доктор!» — и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет.

Никто не мог бы разгадать, что таилось во взгляде этих серо-зеленых глаз, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?.. Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица, а я ведь знал, что она... что она, так же, как и я, думает только об одном... только об одном... что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна... а она танцевала... В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она, — я не мог заставить себя смотреть в другую сторону, я должен был... да, должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, издали впивался в ее невозмутимое лицо — не спадет ли маска хотя бы на миг. Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее — этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания! возьми себя в руки!» — Я знал, что она... как бы это выразить?.. что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале... я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь... я знал, что она — и с полным основанием — боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я знал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них... Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался, точно побитая собака, под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание... безусловно... потому что никто не сказал мне ни слова; и она, наверно, страдала от моего нелепого поведения.

Сколько бы я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю... Я был словно парализован яростным своим упорством... Но она не выдержала... Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружающим ее мужчинам:

— Я немного утомлена... хочу сегодня пораньше лечь... Спокойной ночи!

И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... и так я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого... а тогда... тогда...

Однако погодите... погодите... Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, мужчины — играть в карты... только по углам беседовали небольшие кучки гостей... Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр... и она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны... шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит, а когда я это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тут... о, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом... тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал — вы слышите — я побежал... я не пошел, а побежал за ней, и стук моих каблучков громко отдавался от стен зала... Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал со стыда я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог не мог остановиться... Я догнал ее у дверей Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева... Я только открыл было рот... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала... громко, чтобы все слышали:

— Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... уж эти ученые!..

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... Я понял, я был поражен — как мастерски спасла она положение. Порывшись в бумажнике, я второпях вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня холодной улыбкой... В первую секунду я обрадовался... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, очень странный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... Это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... Я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... Но... но мне не удалось одурманить себя... ее смех отдавался во мне, резкий и злобный... этого проклятого смеха я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок... Но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг... Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей... Часами, часами метался я по своей тесной комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... я все написал... я скулил, как побитый пес, я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Вероятно, это было безумное, невысказанное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов... дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь!»

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

Возле нас что-то зазвенело и покатилося, — неосторожным движением он опрокинул бутылку. Я слышал, как его рука шарилась по палубе и, наконец, схватила пустую бутылку; сильно размахнувшись, он бросил ее в море. Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо.

— Я больше не верую ни во что... для меня нет ни неба, ни ада а если и есть ад, то я его не боюсь — он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем комнату, где только стол, стул и кровать... На этом столе — ничего, кроме часов и револьвера, а у стола — человек не сводящий глаз с секундной стрелки, человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается, который все время... слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так провел я этот день, только ждал, ждал... но так, как гонимый амоком делает все — бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упорством.

Не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... сойдя с ума... И... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком я у двери, распакиваю ее... в коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложенную бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... и не могу... перед глазами красные круги... Подумайте об этой муке... наконец, наконец, я получил от нее ответ... а тут буквы прыгают и пляшут... Я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого проспекта... слова нацарапаны карандашом, торопливо, кое-как, не обычным почерком... Я сам не знаю, почему эта записка так потрясла меня... Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... Каким-то неопишуемым страхом и холодом повеяло на меня от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и мечтаний... Сотни, тысячи раз перечитывал я клочок бумаги, целовал его... рассматривал, в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы, это был какой-то лихорадочный сон наяву... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, длившееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две минуты мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышинный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскочил — голова у меня кружилась, рванул дверь, за ней стоял бой, ее бой, тот самый, которого я тогда побил... Его смуглое лицо было пепельного цвета, тревожный взгляд говорил о несчастье. Мной овладел ужас...

— Что... что случилось? — с трудом выговорил я.

— Come quickly^[4] — ответил он... и больше ничего... Я бросился вниз по лестнице, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели...

— Что случилось? — еще раз спросил я...

Он молча взглянул на меня, весь дрожа, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... Я охотно еще раз ударил бы его, но... меня трогала его собачья преданность ей... и я не стал больше спрашивать... Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в нижний город и врезались в шумливую сутолоку китайского квартала... Наконец, мы свернули в узкую улочку, где-то на отлете... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, со стороны улицы — лавчонка, освещенная сальной свечой... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... Дверь приотворилась, из щели послышался сиплый голос... он спрашивал и спрашивал... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул дверь... Старуха китаянка, испуганно вскрикнув, убежала... Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором... открыл другую дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда слышались стоны... Я ощупью стал пробираться вперед...

Снова голос пресекся. Потом заговорил — но это была уже не речь, а почти рыдание.

— Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязной циновке... корчась от боли... лежало человеческое существо... лежала она...

Я не видел ее лица... Мои глаза еще не привыкли к темноте... ощупью я нашел ее руку... горячую... как огонь. У нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... Она бежала сюда от меня... дала искалечить себя... первой попавшейся грязной старухе... только потому, что боялась огласки... дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне... Только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордости, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет. Бой вскочил, старуха дрожащими руками внесла коптившую керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую каргу за горло... Она

поставила лампу на стол... желтый свет упал на истерзанное тело... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло всю мою одурь и злобу, всю эту нечистую накипь страстей теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знаниями человек... Я забыл о себе... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом. Нагое тело, о котором я грезил с такою страстью, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая священная кровь текла по моим рукам, но я не испытывал ни волнения, ни ужаса... я был только врач... я видел только страдание и видел... и видел, что все погибло, что только чудо может спасти ее... Она была изувечена неумелой, преступной рукой, и истекала кровью, а у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью...

— Нужно сейчас же в больницу, — сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием приподнялась.

— Нет... нет... лучше смерть чтобы никто не узнал... никто не узнал... Домой... домой!..

Я понял... только за свою тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я повиновался. Бой принес носилки... мы уложили ее... обессиленную, в лихорадке... и словно труп понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры проникли в ее комнату... заперли двери. А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему, и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил — он кричал в пароксизме гнева:

— Знаете ли вы, вы, чужой человек, спокойно сидящий здесь в удобном кресле, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали вы когда-нибудь при этом, видели вы, как корчится тело, как посиневшие ногти впиваются в пустоту, как хрипит гортань, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждающему о долге оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач... Это были для меня клинические случаи, некая данность... я, так сказать, изучал это — но пережил только один раз... Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с нею в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаюсь найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит — быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей, знать и быть бессильным... знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв себе все вены... Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, считать пульс, учащенный и прерывистый... затухающий у тебя под пальцами... быть врачом и не знать ничего, ничего... только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому богу, о котором ведь знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я... я только... одного не понимаю, как... как можно не умереть в такие минуты... как можно, поспав, проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук... как можно жить после того, что я пережил... чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный человек, за которого я так боролся, которого хотел

удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это... Когда я сидел у ее постели — я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная, — да... когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением... Это бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы... Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах нет, я не могу вам описать... читал такую мольбу, такую благодарность, и в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее... вы понимаете ко мне, ко мне простирал руки, как к богу... ко мне... а я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как он меня мучил... эта фанатическая, слепая вера в мое искусство... Мне хотелось крикнуть на него, ударить его ногой, такую боль причинял он мне, и все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, сжавшись клубком, за моей спиной... Стоило мне сказать слово, как он вскакивал и, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое и, дрожа, исполненный ожидания, подавал мне просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он вскрыл бы себе вены, чтобы ей помочь... такова была эта женщина, такую власть имела она над людьми, а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, и она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня; казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо... и вдруг... я увидел... она вспомнила... Какой-то испуг, негодование, что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее черты... она начала двигать руками, словно хотела бежать... прочь, прочь от меня... Я видел, что она думает о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело... Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять ее руки пришли в движение... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я стал ее успокаивать, наклонился над ней... тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевельнулись... это был последний угасающий звук... Она сказала:

— Никто не узнает... Никто?

— Никто, — сказал я со всей силой убеждения, — обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невнятно, с усилием она пролепетала:

— Поклянитесь мне... никто не узнает... поклянитесь!

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессиленная, с закрытыми глазами. Потом начался ужас... ужас... еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец...

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда в тишине раздался колокол — один, два, три сильных удара — три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он сиял шапочку, и я увидел его голый череп и измученное лицо, показавшееся мне еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие, язвительные нотки.

— Для нее настал конец — но не для меня. Я был наедине с трупом — один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, а я, — я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе мое положение: женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели... При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь... а утром она уже мертва... Тогда лишь зовут слуг, и весь дом вдруг оглашается воплями... В тот же миг об этом узнают соседи, весь город... и только один человек может все это объяснить... это я, чужой человек, врач с отдаленного поста... Приятное положение, не правда ли?

Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшее желание в моих глазах; даже этот полудикарь понимал, что борьба здесь еще не кончена. Мне достаточно было сказать ему «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом: «Yes, sir»^[5]. Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок — и эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание и мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением, — и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же басню о том, как посланный за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время как я с притворным спокойствием рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее — и вместе с ней ее тайну... Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним — он был мой начальник и в то же время соперник, — тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, — он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил: — Когда умерла госпожа? — он назвал ее имя.

— В шесть часов утра.

— Когда она послала за вами?

— В одиннадцать вечера.

— Вы знали, что я ее врач?

— Да, но медлить было нельзя и потом покойная пожелала, чтобы пришел именно я Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице, — я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было — я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал: — Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня... но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерть и... от чего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол.

Он удивленно поднял брови: — Что это значит?

Я спокойно стал против него.

— Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина обратилась ко мне после... после неудачного вмешательства... Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь я исполню это. И я прошу вас помочь мне.

Он широко раскрыл глаза от изумления. — Вы предлагаете мне, проговорил он с запинкой, — мне, должностному лицу, покрыть преступление?

— Да, предлагаю, я должен это сделать.

— Чтобы я за ваше преступление...

— Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, а то... а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение — если угодно, назовем это так, — и мир ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение. — Вы не потерпите! Так... Ну, вы ведь мой начальник... или по крайней мере собираетесь стать им... Попробуйте только приказывать мне!.. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... Недурной практикой вы тут занялись... недурной образец для начала... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью.

Я спокойно ответил ему. — На этот раз вам придется все-таки это сделать. Иначе вы не выйдете из этой комнаты.

При этом я сунул руку в карман — револьвера при мне не было. Но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него.

— Послушайте, что я вам скажу... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая — тоже... я дошел уже до такого предела... Единственное, чего я хочу, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: даю вам честное слово если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну... и, если вы этого потребуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я буду уверен в том, что никто... вы понимаете — никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит.

В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая крисом... И он сразу стал другим... каким-то пришибленным и робким, от его вверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще:

— Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство... но так или иначе что-нибудь придумаем... мало ли что бывает... Однако не мог же я так, сразу...

— Конечно, не могли, — поспешил я поддакнуть ему. — («Только скорее!.. только скорее!..» — стучало у меня в висках), — но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль живому и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину паралича сердца). После этого он встал и посмотрел на меня:

— Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

— Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

— Я сейчас же закажу гроб, — сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне, какое-то безмерное страдание, — он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. — Желаю вам справиться с этим, — сказал он.

Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой последнее усилие, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и у самой ее постели я рухнул на пол...

как... как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять умолк. Меня знобило — оттого ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробежал по кораблю? Но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять:

— Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

— Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

— Не впускать никого!

— Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило.

— Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал — он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди?.. Бой сказал... тихо и боязливо: — Это он.

Я вскочил... я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... Забыл, что здесь замешан еще один человек — тот, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... Двенадцатью часами, сутками раньше я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... Я не могу, не могу передать вам, как я жаждал увидеть его, полюбить за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так... так трогательно молод он был, и невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку, скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной — не соблазнитель, не гордец... Нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Усики над его губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот мальчик едва удерживался, чтобы не расплакаться.

— Простите, — сказал он, наконец, — я хотел бы еще раз... увидеть... госпожу.

Невольно, сам того не замечая, я обнял его, чужого человека, за плечи и повел, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... уже в этот миг между нами вспыхнуло сознание какой-то общности. Я подвел его к мертвой... Она лежала, белая на белых простынях... Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняет его, поэтому я отошел в сторону, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели неверными шагами, волоча ноги... по тому, как дергались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему сердце... он шел как человек, идущий навстречу чудовищной буре. И вдруг упал на колени перед постелью так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял его и усадил в кресло. Он больше не стыдился и заплакал навзрыд. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд.

— Скажите мне правду, доктор, — проговорил он, — она наложила на себя руки?

— Нет, — ответил я.

— А... кто-нибудь... кто-нибудь... виноват в ее смерти?

— Нет, — повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться крик — «Я! Я! Я! И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!» Но я удержался и повторил еще раз:

— Нет, никто не виноват. Судьба!

— Просто не верится, — простонал он, — не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Как это мыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я тайны покойной. Все эти дни мы были как два брата, словно озаренные связывавшим нас чувством... Мы не поверяли его друг другу, но оба знали, что вся наша жизнь принадлежала этой женщине... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы — и он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что она хотела, чтобы я убил этого ребенка, его ребенка и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него потому что — я забыл вам сказать — меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили темные слухи и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, заставлявшего, как я знал, ее страдать... Я прятался... четыре дня не выходил из дому, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать... Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал.

Я бросил там все, что имел свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы, а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост. Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе в этом мире, где все напоминало мне о ней... Как вор, бежал я ночью, только чтобы уйти от нее... забыть...

Но когда я взошел на борт ночью... в полночь... мой друг был со мной тогда... тогда как раз поднимали что-то краном что-то продолговатое, черное это был ее гроб вы слышите! ее гроб!.. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, тоже был тут... он везет тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь ода опять принадлежит ему... уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... он не узнает, он не должен узнать... я сумею защитить ее тайну от любого посягательства... от этого негодая, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и жаждут сближения?.. Потому что там, внизу — внизу, в трюме; между тюками с чаем и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я сознаю, ощущаю это всем своим существом, ощущаю каждую секунду... и тогда, когда здесь играют вальсы или танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвецов; под любой пядью земли, на которую мы ступаем ногой, гниет труп, и все-таки я не могу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую, что она здесь, и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... еще не конец... ее тайна еще не погребена... Покойная еще не отпустила меня...

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые швабры — матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый на месте преступления; на его бескровном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

— Пойду... пойду уж.

Тяжело было смотреть на него — страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от

виски или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в эту долгую ночь. Невольно я сказал:

— Вы позволите мне зайти днем к вам в каюту?

Он посмотрел на меня, — жесткая усмешка искривила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово.

— А-а... ваш пресловутый долг... помогать... этим самым словцом вы и подбили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо! Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности, вплоть до кишок. Жизнь свою я исковеркал, и никто мне ее не починит. Вышло так, что я даром потрудился для почтенного голландского правительства... Пенсия — тью-тью, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с воем плетущимся за гробом... Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уж близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... Я уже завел себе приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают, а затем — мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, — мой славный браунинг... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его единственное право — околеть как ему вздумается... и без непрошенной помощи.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал — в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и шаркающей походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видал. Напрасно искал я его в ближайшие две ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурной повязкой на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне рассказали, что он только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он шагал взад и вперед по палубе в стороне от других, видел замкнутое, скорбное выражение его лица, и мысль о том, что я знаю его сокровенные думы, смущала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь даже взглядом выдать, что знаю о его судьбе больше, чем он сам,

В порту Неаполя произошел потом тот загадочный несчастный случай, объяснение которому нужно, мне кажется, искать в рассказе незнакомца. Большинство пассажиров вечером съехало на берег — я сам отправился в оперу, а оттуда в кафе на Виа Рома. Когда мы в шлюпке возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте расхаживали по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что команде приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без всяких происшествий шел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать, и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о том, что случилось в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не беспокоить печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб с останками знатной дамы из голландских колоний. Матросы, в присутствии мужа, сходили по веревочной лестнице, а муж покойной помогал им. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с верхней палубы и увлекло за собой в воду и гроб, и мужа, и матросов. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли матросов и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно короткая заметка о том, что в порту прибило к берегу труп

неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики так как, по-видимому, вовсе не стояла в связи с романтически описанным происшествием; но передо мною как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрочно выступило из-за газетного листа иссиня-бледное лицо со сверкающими стеклами очков.

notes

Примечания

«Воспитание чувств» (франц.).

Презренное золото (англ.).

Вы останетесь здесь (англ.).

Идите скорее (англ.).

Да, сэр (англ.).